



**Игорь ЕФИМОВ**

**Крысолов из Петербурга.  
Христианская культура в поэзии Бродского\***

<Фрагмент>

2

С другой стороны, пусть поймет народ,  
ищущий грань меж Добром и Злом:  
в какой-то мере бредет вперед  
тот, кто с виду кружит в былом.

*И. Бродский. Письмо в бутылке*

Нужно сразу оговориться: страна Культура, возрождаемая Бродским, не имеет истории. В ней все происходит всегда, и это *всегда*, как правило, совпадает с *сейчас* и довольствуется им. Нет ничего более естественного для мореплавателя, чей корабль медленно погружается в воды Финского залива (стихотворение «Письмо в бутылке»), чем сказать «и так как никто не придет провожать, / хотелось бы несколько рук пожать» и после этого прощаться по очереди с великими умами прошлого: Эдисоном, Архимедом, Святым Франциском, Львом Толстым, Альбертом Эйнштейном и т. д. Причем, несмотря на печально-ироничный тон и предсмертное шутовство, характеристики, роняемые тонущим мореплавателем, убийственно точны: Кант — «постовой, свистящий в свисток»; Фрейд — «над речкой души перекинул мост, / соединяющий пах и мозг»; Маркс — «Адье, утверждавший “терять, ей-ей, / нечего, кроме своих цепей”. / И совести, если на то пошло». В этом же стихотворении древнегреческий миф легко переносится во времена огнестрельного оружия:

Сирены не прячут прекрасных лиц  
и громко со скал поют в унисон,  
когда весельчак-капитан Улисс  
чистит на палубе смит-вессон.

---

\* Впервые: Вестник РХД. 1988. № 2 (153). Печатается в сокращении с небольшими изменениями по этому изданию.

Римская трирема, шотландский замок, собор Св. Павла в Лондоне, Люксембургский сад в Париже, питерская окраина, шатры израильских племен — Бродский всему чувствует себя причастным, он всюду — дома. А вместе с ним — и мы.

Вообще игра совмещения бытовых деталей различных исторических эпох — одно из любимейших занятий Бродского. Вот о Фаусте:

Не подчиняясь польской пропаганде,  
он в Кракове грустил о Фатерланде,  
мечтал о философском диаманте  
и сомневался в собственном таланте.  
Он поднимал платочки женщин с пола.  
Он горячился по вопросам пола.  
Играл в команде факультета в поло.

Иногда, наоборот, он убирает откровенно карнавальный элемент и делает вид, будто всерьез воссоздает бытовые сценки, скажем, из античной жизни, с четким, как на помпейской фреске, рисунком:

...Снявшись с потолка,  
большая муха, сделав круг, садится  
на белую намыленную щеку  
заснувшего и, утопая в пене,  
как бедные пельтасты Ксенофонта  
в снегах армянских, медленно ползет  
к вершине и, минуя жерло рта,  
взобратъся норовит на кончик носа.

Грек открывает страшный черный глаз,  
И муха, взыв от ужаса, взлетает.

Конечно, даже от образованного читателя потребуются известное напряжение, чтобы припомнить — не выходя из ритма стиха, — что Ксенофонт был автором книги «Анабасис», описавшей поход десяти тысяч греков через древнюю Персию, действительно включавшую тогда и Армению, а пельтастами называли воинов, вооруженных легкой пращей — пельтой. Можно рассердиться на поэта за это щегольство энциклопедичностью, но можно и просто последовать за ним и перенестись в древнюю цирюльню так, будто это парикмахерская, расположенная на соседней улице.

Очень часто у Бродского и образный, и словесный строй тяготеют к уничтожению примет эпохи, к размыванию границ, к универсализации. В тридцати первых строчках знаменитого стихотворения «Большая элегия Джону Донну» в перечислении «Уснуло все. Бутылка, стакан, тазы, / хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда...» можно насчитать около семидесяти предметов,

но только один из них — камзол — был бы невозможен в комнате современного поэта.

Другой способ преодоления исторической случайности, конкретности, однозначности — слияние нескольких событий и персонажей в синтетический образ. В стихотворении «Одному тирану» черты и приметы Сталина, Гитлера, Пол Пота проступают лишь намеками, давая простор обобщенному образу диктатора — того, кто еще, может быть, только бродит среди нас в ожидании своего часа. Точно так же и «Письмо генералу Z» не адресовано конкретно Гинденбургу или Самсонову, Ямамото или Вестморленду, но представляет собой горестный вопль честного солдата против войны, ставшей бессмысленной, как карточная игра.

Профессор А. Жолковский, анализируя «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», прослеживает скрытые и явные отсылки к истории мировой культуры, которыми пронизано это произведение:

«“Сонеты” напичканы явными и не совсем, но всегда снижающими отсылками к Данте (“Земной свой путь пройдя до середины...”), Шиллеру (автору “Марии Стюарт”), стихам самой Марии Стюарт, Пушкину, Гоголю, Ахматовой (“Во избежанье роковой черты...”) и разнообразным русским клише, пословицам, романсам и т. п.; к Моцарту (“айне кляйне нахт мужик”), Эдуарду Мане (“Завтрак на траве”), к фильму “Дорога на эшафот” с Сарой Леандр; к парижской архитектуре и топографии и многому другому».

Единственное, с чем здесь трудно согласиться, — с эпитетом «снижающие» отсылки, использованным Жолковским. Бесподобная ирония Бродского («...истории влетело / от Шиллера...») — это не пустое профанирующее зубоскальство, а естественная реакция на карнавальную элемент создаваемого им мира. Если вы сводите в одной зале — в одной поэме — сотни персонажей в костюмах разных эпох и народов, стихия карнавала — в ее высоком, бахтинском смысле — вторгается неизбежно. Делать вид, что ее нет, сохранять полную серьезность — значит самому стать смешным.

Все дело в том, что своих гостей, разбросанных по разным углам царства, именуемого «Мировая культура», Бродский сзывает на шествие не для забавы, не для щегольства, не для пустой игры. Взаимосвязь между порывами отдельной человеческой души и ходом мироздания — вот загадка, к которой он возвращается снова и снова. Отразилась ли каким-то образом драма карфагенской царицы Дидоны в падении Карфагена много веков спустя? Как вплелись страсти Марии Стюарт, Елизаветы Английской, Джона Донна в судьбу сегодняшней Англии? Какой путь пролег от крещения русского народа древними греками до разрушения

греческой церкви в Ленинграде? И наоборот — какое душевное усилие должны — и можем — мы совершить из нашего сейчас, чтобы не дать кануть в небытие тому, что нам дорого, чтобы сохранил

...милосердный Бог  
то, чего я лицеизреть не смог.  
Америку, Альпы, Кавказ и Крым,  
долину Евфрата и Вечный Рим,  
Торжок, где почистить сапог — обряд,  
и добродетелей неких ряд...

Любой человек, искренне задающийся вопросом «Что правит мирозданием?», по сути спрашивает о Боге. И юнец, выращенный в недрах самого безбожного государства, брошенный без наставников, без богословских книг, без очарования обрядов, без тайны таинств, пришел к мыслям о Боге одной лишь силой и страстью своего неумемного вопрошания.

### 3

Анатолий Найман в предисловии к сборнику «Остановка в пустыне» говорит, что Библией Бродский начал зачитываться в начале 1960-х. Интересно отметить, что в «Шестви», написанном осенью 1962 года, нет еще ни одного библейского персонажа. А в 1963 году уже пишутся «Большая элегия Джону Донну» и «Авраам и Исаак». И с этого момента христианская тематика вторгается в поэзию Бродского мощным потоком.

Для многих образованных, но неверующих людей Библия остается просто собранием красивых и занятных мифов, стоящих в ряду собраний мифов других религий — буддистской, мусульманской, древнеегипетской и пр. Не то для Бродского. Для него нет книги актуальнее Библии. В библейском мире он безошибочно устремляется к полюсам духовного напряжения, к ключевым эпизодам, ищет ответа на вопросы, терзающие нас и сегодня. Он начинает с самых истоков, с книги Бытия. Так же, как Серен Кьеркегор за сто лет до него, он застывает в изумлении перед загадкой «рыцаря веры» Авраама.

Вот что писал об Аврааме Кьеркегор в книге «Страх и трепет»:

«Если бы евангельский богатый юноша после встречи с Христом продал все свое имущество и роздал деньги бедным... он не стал бы похожим на Авраама, хотя и пожертвовал бы своим наилучшим достоинством. Из истории Авраама выпускают *страх*. По отношению к деньгам у меня нет никакого этического обязательства, но отец по отношению к сыну как раз связан наивысшим и святейшим долгом... С этической точки зрения

Авраам хотел убить сына; с религиозной — он хотел принести Исаака в жертву Богу, но такое противоречие этической и религиозной точки зрения как раз и повергает человека в страх».

Бродский строит свою поэму вокруг той же сердцевинной — и страшной для всякой религиозной души — драмы: столкновения самой дорогой земной привязанности с любовью к Богу. Легко робким сердцам утешать себя мыслью, что Бог никогда не поставит их перед страшным выбором. Но «рыцарь веры» знает — или предчувствует: это возможно. Он знает, что ему страшна не борьба добра и зла в его душе — тут он спокойно примет сторону добра и останется победителем, даже если погибнет. Но вот если жажда доброго придет в нем в столкновение с жаждой высокого, т. е. веры, — вот тогда его душа будет рваться пополам и не будет ей покоя. Ибо, действительно, что должны были испытывать ученики Иисуса из Назарета, когда слышали слова учителя: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником...» (Лк 14: 26)?

Бродский ощущает неразрывную связь между чудом веры Авраама и милости Божьей, остановившей занесенный нож, — с одной стороны, и судьбой великого народа, объединенного на тысячелетия этой верой, — с другой.

«Пойдем же, Авраам, в твою страну,  
где плоть и дух с людьми — с людьми родными,  
где все, что есть, живет в одном плену,  
где все, что есть, стократ изменит имя.  
Их больше станет, но тем больший мрак  
от их теней им руки, ноги свяжет.  
Но в каждом слове будет некий знак,  
который вновь на первый смысл укажет...

.....

Довольно, Авраам, испытан ты.  
Я нож забрал — тебе уж он не нужен.  
Холодный свет зари залил кусты.  
Идем же, Исаак почти разбужен...»

Таким же глубоким чувством-размышлением о связи между верой и судьбой народа пронизано и стихотворение «Остановка в пустыне», построенное вокруг реального эпизода недавней истории — разрушения Греческой церкви в Ленинграде и сооружения на ее месте концертного зала.

Так мало нынче в Ленинграде греков,  
да и вообще — вне Греции — их мало.  
По крайней мере мало для того,  
чтоб сохранить сооруженья веры.

А верить в то, что мы сооружаем,  
от них никто не требует. Одно,  
должно быть, дело — нацию крестить,  
а крест нести — уже совсем другое.  
У них одна обязанность была.  
Они ее исполнить не сумели.  
Непаханое поле заросло.  
«Ты, сеятель, храни свою соху,  
а мы решим, когда нам колоситься».

Другая религиозно-философская тема, часто всплывающая в поэзии Бродского, — тема безверия и демонизма. Если гётевский Фауст продал душу дьяволу за молодость и наслаждения, пушкинский — в надежде спастись от проклятья скуки, то Фауст Бродского обуреваем иссушающей интеллигентской жаждой знания ради знания.

Он точно знал, откуда взялись черти.  
Он съел дер дог в Ибн-Сине и в Галене.  
Он мог дас вассер осушить в колене.  
И возраст мог он указать в полене.  
Он знал, куда уходят звезд дороги.

Но доктор Фауст ниц не знал о Боге.  
.....  
У человека есть свой потолок,  
держайся вообще не слишком твердо.  
Но в сердце льстец отыщет уголок,  
и жизнь уже видна не дальше чёрта.

В этом же стихотворении («Два часа в резервуаре») проводится очень тонкое — и очень характерное для Бродского — различие между истинной верой и мистическо-окультистскими играми.

Есть мистика. Есть вера. Есть Господь.  
Есть разница меж них. И есть единство.  
Одним вредит, других спасает плоть.  
Неверье — слепота. А чаще — свинство.  
.....  
Есть истинно духовные задачи.  
А мистика есть признак неудачи  
в попытке с ними справиться. Иначе,  
их бин, не стоит это толковать.

Есть у Бродского стихотворения, в которых религиозные искания души отражены в такой сложной и нестандартной форме, что исследователям суждено еще много раз возвращаться к ним. Таковы «Новые стансы к Августе», «Памяти Т. Б.», «Натюрморт» (об этом стихотворении есть интересная статья Льва Лосева),

«Пень без музыки», «Бабочка» и, конечно, поэма «Горбунов и Горчаков», которая остается во многих отношениях загадочной даже после замечательной статьи Карла Проффера. Но когда поэт обращается к Богу непосредственно, доминирующей интонацией, как правило, оказываются ясно и однозначно выраженные чувства грусти и благодарности.

Я глуховат. Я, Боже, — слеповат.....  
 .....  
 Да, сердце рвется все сильнее к Тебе,  
 И оттого оно все дальше.

Уже в первой строчке поэмы «Шествие» слышна реминисценция лермонтовского «За все, за все тебя благодарю...»:

Пора давно за все благодарить,  
 за все, что невозможно подарить  
 когда-нибудь кому-нибудь из вас...

Лермонтовские интонации слышны и в «Разговоре с небожителем»:

Там, наверху...  
 услышь одно: благодарю за то, что  
 Ты отнял все, чем на своем веку  
 владел я...

И снова в стихотворении без названия, написанном в 1980 году:

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.  
 Только с горем я чувствую солидарность.  
 Но пока мне рот не забили глиной,  
 из него раздаваться будет лишь благодарность.

#### 4

Вне всякого сомнения, путь молодого Бродского к христианству был облегчен и сокращен благодаря встрече с Ахматовой. Именно ее православие, пронесенное сквозь ад сталинской эпохи, играло для него роль Вергилиевого — путеводного — венка. И все же религиозность Бродского-поэта невозможно уложить в рамки какой-нибудь одной ветви исторического христианства: католицизма, православия, протестантизма. Она в значительной мере включает в себя и иудаизм, и эллинизм, соками которых питалось и питается до сих пор густо ветвящееся (сколько церковных течений в одной Америке!) древо христианской веры.

Однако пусть нас не обманет эта кажущаяся всеядность и расплывчатость. В одном Бродский остается последовательно нетерпим, почти фанатичен. Он — пламенный антиязычник. Речь здесь, конечно, идет не о формальном разделении людей по вероисповедальному признаку, а о более глубоких различиях духовной позиции. Но так или иначе, образная ткань поэзии Бродского насыщена ассоциациями: «неверные — зло».

Так, в стихотворении «Речь о пролитом молоке» одинокий и нищий поэт сидит один в комнате и — что же еще остается делать русскому поэту в такой ситуации? — сочиняет рецепты спасения мира:

Я пришел к Рождеству с пустым карманом.  
Издатель тянет с моим романом.  
Календарь Москвы заражен Кораном.

.....

Нынче поклонники оборота  
«Религия — опиум для народа»  
поняли, что им дана свобода,  
дожили до золотого века.  
Но в таком реестре (издержки слога)  
свобода не выбрать — весьма убога.  
Обычно тот, кто плюет на Бога,  
плюет сначала на человека.

Возражая тем, кто вопит «У Труда с Капиталом контактов нету», поэт отплеивается: «Тьфу-тьфу, мы выросли не в Исламе...» Он распалывается все пуще, у него «нерв разошелся, как чёрт в сосуде»:

Ничего не остыну! Вообще забудьте!  
Я помышляю почти о  
бунте!  
Не присягал я косому Будде...

<...>

